

МОИ ЖЁНЫ

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ — РАУЛЯ СИНЕЙ БОРОДЫ)

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в Ваших читателях смех и созидающая лавры гг. Лодио, Чернову¹ и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление... Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подёргиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбуждённое мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а г. Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, м. г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не зваться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto^{*}?² Кроме права выбора, над человеком тяготеет ещё «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорви-голов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во всё время моей женатой жизни денно и нощно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тёщу, тестя, свекровь... и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что всё это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отправлял своих жён на другой же день после свадьбы — post primam noctem.³ Чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отправлял своих жён не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir,⁴ как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посыпал в лавочку за спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведённой характеристики всех семи мною отправленных жён читателю и Вам, м. г., станет очевидным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жён в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой: «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребёнка, глазами. Стойна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты её глаза, и уменьем постоянно молчать — редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалёкое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачёвым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за всё время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый, молодой барабашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моём лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила... Дни и часы, в которые её большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча,

восторгаясь, изумляясь... Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жёны в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах.

Ни у Тестова,⁵ ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели приготовлять её пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для неё одним из ужасных страданий... Но ничто не повергало её в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы... Моё самое недолгое отсутствие заставляло её думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара... и сколько мучительных секунд сидит в её памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «под шофе» и, благодушествуя, располагался на диване с романом Габорио,⁶ никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, тёплого ватного одеяла и стакана липового чая!

Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и... потом улетает в пространство, но если же она начнёт гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос — и всё это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать её и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, лёгкой головной боли, заездили меня. В конце концов я не вынес... Да и к тому же её любовь ко мне была её страданием. Вечное молчание и голубиная кротость её глаз говорили за её беззащитность. Я отравил её...

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щёках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы её женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не ошибался, когда называл её телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щёй в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс её был 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить... Жизнь её сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс... От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша...⁷ Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль её жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Volens-nolens,⁸ чтобы избежать визга и попрёков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться... Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором...

№ 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно говорила о принципах. Во всём, что касалось её принципов, она старалась быть беспощадной...

— Нечестно,— говорила она мне,— носить бороду, когда из неё можно сделать подушку для бедного!

«Боже, отчего она страдает? Что за причина? — спрашивал я себя, прислушиваясь к её вздохам.— О, эти мне гражданские скорби!»

Человек любит загадки — вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нём на следующий перл: «Желание спасти бедного папа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в

межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел... Вместе со своими принципами она отправилась *ad patres*.⁹

№ 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивлённым лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою...»¹⁰ Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришёл доктор, и гаммы кончились...

№ 5. Длинноносая гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно: чёрное платье с узкими рукавами, широкий пояс... во всей одежде какая-то плоскость, утяжнность — ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей и мечтала об учёной карьере. Говорила она только об «умном»... Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с её языка... Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем... Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал... Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья... Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю... Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моём черепе...

— Не мешай мне... Я думаю... — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями...

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собою серьёзное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого кали. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битьё горничных по щекам считала грандшиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и её...

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тёщи. (Тёщ отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе...

Я кончил... Думаю, м. г., что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Рауль Синяя Борода.
Ратификовал: А. Чехонте.